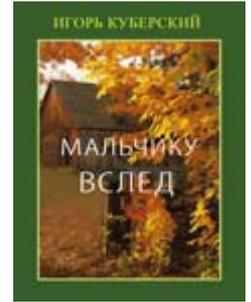


## МАЛЬЧИКУ ВСЛЕД



Дизайн автора

### 1

От долгой дороги — мы ехали почти неделю — в памяти осталось совсем немного, только то, что мы ехали и ехали, и на третий день я уже был знаком с двумя мальчиками и девочкой из этого же вагона и бегал с ними по длинному узкому коридору, подглядывая в какие-то щелочки; на остановках в тамбуре появлялись посторонние люди в телогрейках, с мешками и в сапогах, а потом снова покачивало, и, расположившись в своем купе, мы ели, и вся наша еда была в маленьких кулечках, пакетах и свертках; мы ложились спать, а утром оказывалось, что вагон все так же покачивается и за окнами по-прежнему спешат назад столбы, лес и изредка — серые избы. Но и это кончилось, и был темный старый приземистый каменный город, где мы не задерживались, — и память начинается с осеннего дня, в котором перемешались дождь и свет, отчего все блестело, и мы сидели в кузове грузовика среди нашей мебели, на ухабах она тяжело заваливалась, и казалось, вот-вот вместе с ней оторвется кузов, и от этого было и жутко, и радостно; из-за плоской крыши кабины то и дело взлетало небо, неистово блестело, и ранний закат переходил из лужи в лужу, а на повороте к поселку, когда под колесами запрыгали черные доски настила, закат отразился в осенней воде весь, и я успел увидеть в ней черный краешек кузова и свою качнущуюся фигурку.

В хороший теплый дом мы переехали только к зиме, а осень прожили в бараке, их было несколько, и они были очень похожи на железнодорожные вагоны — такой же длинный, из конца в конец, коридор и двери. Двери постоянно хлопали, из-за фанерных перегородок доносились глухие голоса. В бараке было холодно и неудобно, в нашей комнате постоянно горела электроплитка, а в коридоре пахло чадом. Зато на дворе ждал совсем иной мир. Собственно говоря, никакого двора около барачков не было: прямо за ними начинались поляны и перелески, и дальше — тайга. Перед тайгой шел длинный глубокий ров, вырытый экскаватором. Экскаватор тарахтел целый день, и когда он вдруг замолкал, то окрестности словно лишались голоса и стояли немые, подрагивая листьями. Тайга начиналась сразу же за этим ровом, и я, замирая от неизвестности, стоял на самом его краю и смотрел на темные, облитые мокрым блеском неподвижные деревья. Оттуда тянуло холодом и сыростью, и однажды я спустился в ров, вскарабкался на противоположный край и, глянув совсем близко в ту жуткую, в крапинах желтого и красного, глубину, опрометью бросился обратно, сильно испачкавшись на оползающем глиняном склоне.

Дни стояли светлые, свежие и по большей части сухие, и за старой вырубкой — она была изумрудно-зеленой — до самого рва росли и мигали мелкой светло-желтой листвой молодые березы. В ту пору у меня не было друзей, но приятелей было много — мы бежали в молодой березняк, под ногами шуршали листья, мы собирали их в легкие рассыпчатые горки, прыгали сверху — и счастьем было барахтаться в хрустящей невесомой листве, разбрасывая ее вокруг. Но самым большим счастьем было кататься на березах.

Влезать было нелегко, тонкий, будто натертый тальком ствол скользил под взмокшими ладонями, и веточки, слишком ненадежные, чтобы цепляться за них, мелко дрожали, — и все же надо было забраться достаточно высоко, а потом, сильно оттолкнувшись ногами от ствола, отчаянно повиснуть на руках, чтобы этим толчком перегнуть березу. И вот она поддается,

уступает, медленно клонится, и я сквозь томительную слабость в готовых разжаться пальцах ощущаю этот плавный холодающий полет.

И, пролетев сквозь желтое, белое и голубое, отпустишь березу, и она, вздохнув всей своей легкой листвой, рванется вверх, но так и не сможет подняться, и в ее склоненном стволе, в ветках, перекинутых на одну сторону, надолго останется что-то разоблаченное и стыдное.

## 2

Пришла зима, и выпал снег. Снегу было много, и чем больше его становилось, тем светлей и пустынной делалось вокруг. На новом месте, куда мы переехали в декабре, мне долго не нравилось, и по привычке тянуло назад, к знакомым баракам. Но там теперь жили другие люди, а за бараками было бело и тоскливо, и я почувствовал, что что-то потерял.

У нас две комнаты, а наши соседи живут в одной. Они работают, вернее, работает Августа Михайловна, а Валерий Евлампиевич, как и папа, офицер. Только у него звание капитан, а у папы — подполковник. Августа Михайловна возвращается с работы в пять часов вечера и, переодевшись, возится в халате на кухне. Они с мамой друзья. Она немного моложе мамы, ей двадцать шесть лет, мне нравится, как она выглядит — она крупная, статная, у нее чистое гладкое лицо, мягкий голос и тяжелые косы, уложенные на затылке. Валерий Евлампиевич, на мой взгляд, мало подходит ей — он только чуть-чуть выше ее ростом, сухой, со впалой грудью и острыми коленками. У него скучное изможденное лицо и старая морщинистая шея. Он часто попетушину дергает шеей, словно хочет вытащить ее из слишком тесного воротника гимнастерки. Это у него от контузии, и я стараюсь не смотреть.

После ужина Валерий Евлампиевич в полурасстегнутой гимнастерке и в галифе выходит на кухню, садится, закинув одна на другую свои худые ноги — на верхней повисает шлепанец, — и разговаривает с моей мамой. Он любит говорить. Его редкие длинные волосы зачесаны назад и тускло блестят, от него слегка пахнет спиртным. Еще он любит петь. Выкурив папиросу, он откидывается на спинку стула и заводит свою любимую:

По мосткам тесовым вдоль деревни  
Ты идешь на модных каблуках,  
И к тебе склоняются деревья,  
Звездочки мелькают в облаках...

Лицо его красно, а вдоль шеи ходит острый кадык. Мне нравится эта песня, хотя Валерий Евлампиевич поет с натугой, так что появляется желание помочь, но если смотреть в сторону, то выходит, что у него в самом деле есть голос. Еще он поет:

Закурю-ка, что ли, папиросу я,  
Никогда я прежде не курил...

Мама тоже слушает и хвалит Валерия Евлампиевича, и я вижу, как ему приятна эта похвала. Он встряхивает головой, снова перекидывает свои ноги в тапочках и обращается ко мне:

— Вот подрастешь, будешь артистом, певцом...

— Да, знаете, у него очень хороший слух, — подхватывает мама, и я краснею, я вовсе не собираюсь быть певцом.

— Валерий! — появляется на кухне энергичная Августа Михайловна. Волосы у нее распущены, и смотреть на них приятно. — Ты что распелся? Борис Васильевич отдыхает.

Борис Васильевич — это мой отец.

— Сейчас, сейчас, Ава. — Валерий Евлампиевич смущенно кашляет в худой кулак и поднимается со стула.

— Да что вы, пойте! — восклицает мама.

— Нет-нет, Ирина Ивановна, — качает головой Августа Михайловна.

Так у нас бывает на кухне.

Мне хорошо, когда все дома, когда все уже пришли и больше не раздастся звонок в дверь, правда, могут еще прийти гости, но это случается редко. Гораздо чаще в гости по вечерам уходят мои родители. Я бы привык и к этому, если бы не квартира, пустая квартира, которая из теплой, уютной сразу же превращается в холодную и враждебную. Я пройду по комнатам и включу везде свет, включу в коридоре и на кухне и двери раскрою настежь — чтобы все видеть, все слышать. И все-таки какая угроза притаилась там, за открытой в коридор бело сияющей дверью, почему так сумеречно за ней, что поскрипывает там, почему так неподвижны тускло поблескивающие металлические ручки — или одна из них начнет медленно опускаться вниз... — почему так черны окна, неужели это мой бледный и размытый силуэт движется в них?

Но самое страшное — это когда гаснет свет, гаснет сам, — тогда только на подоконник, и ноги поближе, и лучше накрыть их одеялом, и сидеть с расширенными и невидящими глазами, и бояться, бояться, бояться... Пока — так нескоро — в наружной двери не щелкнет замок и не раздастся знакомое, такое родное, покашливание отца и спокойный голос матери.

Сегодня они опять ушли, но мне нет нужды включать везде свет — соседи дома, и Августа Михайловна то и дело выходит на кухню. Но через час немного необычный для вечера нервно-суетливый шум, который производят соседи, вдруг приобретает совершенно определенный смысл — соседи тоже собираются куда-то уходить. Да, да, об этом были слова Августы Михайловны в открытую дверь их комнаты, и вот почему так долго лилась вода в ванной. Они уже одеваются, и Валерий Евлампиевич уже почистил сапоги, оставив в прихожей военный запах одеколона, гуталина и ремней. Я слышу озабоченно-торопливое оживление, еще несколько минут — и они оставят меня одного. Я тихо иду в прихожую, снимаю украдкой с вешалки свое пальто и шапку, стремительно одеваюсь, резко открываю входную дверь и захлопываю ее за собой. Секунда — и меня уже нет на лестнице, и вот я уже скрываюсь за углом нашего дома. Мне стыдно, у меня горят щеки от стыда, я не только трус, я еще и подлый, нехороший человек. Но иначе я поступить не могу — у меня нет сил, я не хочу все время бояться. Я устал бояться. Я знаю, что теперь соседи никуда не уйдут — они будут ждать моего возвращения, — у меня ведь нет ключа. Первые минуты я никак не могу оправиться от стыда, мне даже трудно дышать, и я тихо постанываю, но постепенно мои шаги и дыхание выравниваются — оказывается, я на центральной улице, — снегопад. Я иду сквозь снег, и мне уже хорошо.

Он сыплет влажно, густо, обильно, я иду в белом освещенном коридоре, вокруг струящиеся стены, я прохожу их насквозь, а они не кончаются, и, остановившись, я слышу тихое, как лопание пузырьков в газированной воде, шелестение планирующих плоских хлопьев. Они облипают плечи и воротник и легкими прохладными касаниями трогают и трогают лицо. Я стою, нет, я уже не стою, а поднимаюсь все выше и выше, это они повисли в полете, а я поднимаюсь. Мне хорошо, тепло, спокойно, я поднимаюсь то прямо вверх, то немного наискосок, будто раскачиваюсь, еще немного — и начнется небо...

Я гуляю долго и упорно, и все-таки приходит минута, когда я стою перед нашей дверью и нажимаю кнопку звонка. Конечно, соседи ждут меня и они дожидаются своего — я же не могу ходить вечно. Они одеты, причесаны и надушены, только теперь в них появилась утомленность слишком долгого ожидания и молчаливый укор. А я им говорю, что не хочу быть один дома, и что я проголодался, и что дома нечего есть.

— Как это нечего? — ухватывается за последнее Валерий Евлампиевич. — А ну-ка, что тут у нас имеется? — с воодушевлением, как будто оно непременно должно передаться мне, говорит он, гремя крышками от кастрюлей. — Во — картошка есть. Хлеб есть, масло есть. Начистишь картошки, понял? Маслица бросишь на сковороду, посолишь, а? Прекрасная еда, молодой человек! — похлопывает он меня по плечу.

Ну что я могу ответить. Я молчу. И, еще раз бодро похлопав меня, Валерий Евлампиевич неуверенно устремляется к Августе Михайловне. Она молча ждет его в коридоре. Они уходят.

Потом была весна. Вокруг дома, пока не очистилась и не просохла крыша, целыми днями падали и сверкали миллионы капель, так что внизу они пробили глубокую, до земли, канавку, которая замерзала к вечеру, и в голубом льду выпукло и таинственно проглядывали зерна песка и маленькие пестрые камешки. Прибежав из школы и наскоро пообедав, я спешил во двор, где во всю его длину изломанно бежали ручьи; мы устраивали запруды, дамбы и плотины, ледяная вода гулкой и упругой струей вырывалась из заграждений, катушки, утыканые ученическими перьями, бешено вращались, и мы всё собирались сделать какой-нибудь привод, чтобы что-нибудь ответно крутилось и двигалось... Мои руки покрылись страшными цыпками, трещины никак не заживали, и мама смазывала их свиным пахучим жиром.

Еще мы прыгали с шестами через слепящие на солнце лужи, и, когда конец шеста, скользнув о ледяное дно, предательски лишал опоры, большим искусством было не шлепнуться со всего маха в воду.

В конце апреля мне купили велосипед. Прежде я катался на чужом, взрослом. Но когда наступала моя очередь, я, конечно, не мог за несколько кругов насладиться его быстрым плавным бегом. Взобравшись на седло, я с трудом дотягивался до педалей, поэтому предпочитал кататься стоя, продев ногу в треугольник рамы. Это было не очень удобно, зато педали были послушны мне, и, подминая их, я мчал мимо деревьев, только что брызнувших первой листвой, и, выкатывая на асфальт возле школы, слышал нежное шелестение рубчатых шин.

На асфальте девочки играли в классы, и я волновался при виде их, переодевшихся в короткие юбочки, белые носки и сандалии. Я пронёсился нарочно по самому краю их клеточного царства, победно звоня и с удовольствием ловя притворно-сердитые взгляды.

### 3

Летом меня отправили в пионерский лагерь. В лесу на обширной поляне стояли палатки, большие солдатские палатки. В каждой умещался целый отряд. Днём брезентовые скаты сильно нагревались и внутри невозможно было дышать. А солнца было много, и мы играли в прежде неизвестные мне игры. «Цепи кованы, раскуйте нас! Кем?» И наступал момент глухого и сильного волнения — кого позовут? А если меня, то как важно было — кто позвал. И вот в груди радостно и стесненно, и нужно хорошо разбежаться, чтобы разорвать противоположную цепь и увести девочку, которая позвала. Увести за маленькую, тонкую, послушную руку.

На поляне летало много бледно-желтых бабочек-капустниц, и мы ловили их сачками. А после одного теплого бешеного дождя на дороге остались большие лужи, и мы еще удивились их необычному цвету и обнаружили, что все они покрыты распластанными мертвыми бабочками. Зачем бабочки опускались на лужи? Это так и осталось загадкой.

Наша палатка была особенной — здесь жили горнист и барабанщик. Поутру горнист пронзительно трубил у самого входа в палатку. Как блестел его поднятый к небу горн, и как я завидовал ему!

Но и для меня нашлось дело — в «тихий час», когда все маялись в кроватях, я сидел в палатке старшего пионервожатого и оформлял лагерный альбом. Я был лучшим художником лагеря и рисовал плавающих, бегающих, играющих в мяч пионеров. На первой странице я нарисовал горн и барабан, на второй пионерскую линейку и ребят, салютующих поднятому на мачте флагу, — страниц в альбоме было много, и я рассчитал, что мне как раз хватит всех «тихих часов», чтобы до конца месяца заполнить его.

Прошла всего неделя, а наш отряд уже заступил на круглосуточное дежурство по лагерю. Мне запомнилось только начало ночи, когда все уже легли спать, и вокруг стало непривычно тихо, когда над поляной поднялся туман, и мы бежали по холодной влажной траве к движку, который снабжал лагерь электричеством, — я бежал с чайником горячего чая для тех, кто там дежурил, и масляно блестящий движок так будоражаще стучал, и рядом с ним так тепло и вкусно пахло бензином...

Из толстых полых и сухих стеблей мы делали себе трубки и, набрав в рот бузины, стреляли друг в друга. У меня тоже была такая трубка, и стрелял я метко. Укрывшись в засаде, я расстреливал противника. Так я выстрелил в мальчика из соседнего отряда и попал ему жесткими незрелыми ягодами бузины прямо в шею и щеку. Лицо его исказилось, и, с ходу развернувшись, он бросился на меня. Я не успел отскочить, и он ударил меня в грудь. Теперь была моя очередь ударить, но он побежал прочь. Я пустился за ним и, чувствуя, что не догоняю, ударил его сзади ногой. Он вскрикнул, споткнулся и упал, а я оседлал его и, поймав руки, прижал их к земле — как распял.

«Сдаешься?!» — потребовал я. Я был сильнее его, и он это чувствовал — иначе бы он не стал убегать, и теперь он в бессильной ярости корчился подо мной. Но я не успел испытать торжества победителя — я вдруг увидел на его лице такое отвращение и такое страдание оттого, что я, вызывающий это отвращение, сильнее, что сразу машинально отпустил его. Он убежал, громко плача, а я остался стоять, совершенно потрясенный открытием, что я могу быть отвратителем кому-то.

Мы стали врагами, и я чувствовал, что нам снова придется столкнуться.

Столкнулись мы через день — я катался на качелях, а он подошел и начал мешать. Мне очень не хотелось связываться с ним, кроме того, я считал, что вопрос «кто кого?» уже решен, и по праву сильного я просто слез с качелей и оттолкнул его. Но в этот же момент он вцепился ногтями мне в лицо. Я почувствовал противную резь на носу и под глазом и, тряхнув головой, как будто можно было стряхнуть боль, снова толкнул его. Он упал, но тут же вскочил на ноги и кинулся на меня. Я с ним боролся, как во сне, — вяло и безвольно. Крутанув, я сваливал его на траву, и мне казалось, что падает он очень медленно, и я почему-то не успевал отметить, когда он снова вскакивал, и каждый раз удивлялся боли, которую он причинял своими ногтями. Я был уверен в своей победе, когда, сцепившись с ним, падал на землю, но вдруг что-то резко и ослепляюще пронзило мне левую руку...

Через час с каким-то сложным вывихом локтевого сустава меня отправили на машине в город.

В городской больнице тоже было лето, из окон прямо на середину большой палаты падали широкие солнечные столбы, и очень хотелось постоять в них, но до операции мне запретили ходить.

Операцию делали почему-то во время обеда: нянечка уже разнесла всем первое, и, сев на кровати перед тумбочкой, я уже начал есть бульон с фрикадельками — мое любимое домашнее кушанье, — и в этот момент за мной пришли.

— Бульон пусть постоит, потом доешь, — сказала мне медсестра, помогая надеть халат.

В операционной было несколько человек, и мне понравилось, что кругом так чисто, бело и никелированно. Сказали лечь, я лег, придерживая больную руку, надо мной вспыхнул яркий круглый свет, и я зажмурился. На лицо мне стали класть марлю и вдруг приложили что-то холодное и текучее, оно стекало с носа по щекам, я услышал «дыши глубже» и стал дышать и тут же стал куда-то неудержимо опрокидываться, все скорей и скорей, перед глазами возник сверкающий спиралевидный след, немного похожий на бенгальский огонь, и раздался гул глубокого, круглого, сияющего колодца, куда я стремительно и даже с восторгом падал спиной.

Мне приснилась дачная местность, в которой мы жили летом до переезда в Сибирь, и мои друзья. Я стою перед ними, моя левая рука безвольно висит на белой перевязи, а друзья подходят ближе, и самый мой большой друг Валерка Перунов говорит: «Что, больно?» — и вдруг трогает мою неподвижную руку. Мне становится очень больно, и я хочу сказать ему об этом, но не могу произнести ни слова, он снова трогает, а я не могу отойти, убежать — я бессильно стою и молчу.

Я просыпаюсь оттого, что кто-то осторожно и настойчиво сгибает и разгибает мою левую руку. Я чувствую прикосновение чьих-то холодных пальцев и удивляюсь, что она в самом деле сгибается и разгибается, хотя каждый раз при этом возникает ноющая несильная боль в локте.

В палате на моей тумбочке по-прежнему стоит бульон с фрикадельками — он остыл, но я все равно беру ложку, он был такой вкусный, этот бульон. Но теперь больше одного глотка я не могу сделать — меня поташнивает.

Приятелей в палате у меня так и не появилось, но это меня не огорчало. Даже наоборот — так было спокойнее.

Я давно уже привык быть один и даже считал, что в одиночку можно сделать больше открытий. Если меня и тянуло к кому-то, то лишь к девочкам: мне нравилось, что они всегда чистенькие, спокойные и сдержанные, что от них никогда не ждешь какого-нибудь подвоха, мне нравились их лица, их косы и банты, их тоненькие ноги и то, как они ходили, — во всем, что я видел, они были намного совершеннее мальчишек, и еще они были умнее.

Девочки были и в нашей палате — они лежали напротив, у другой стены. Многие попали сюда из-за аппендицита и теперь, после операции, не вставали с коек. Им давали прямо в кровати бульон и чай и несколько раз в день приносили и уносили белые плоские судна. Нянечка всегда сердилась, когда у нее просили судно, и я был доволен, что мне оно не нужно. Правда, я тоже был не очень-то подвижен — на левой руке я носил огромную гипсовую болванку, гипс охватывал плечо и лопатку, и спать я мог только на правом боку, отчего он вскоре начал побаливать. Но все равно с теми, у кого аппендицит, не могло быть никакого сравнения, и я жалел их.

В один из дней нянечка была особенно сердитой и расшумелась, когда девочке, которой вчера сделали операцию, понадобилось судно. Она так грубо подсунула эту белую посудину, что я испугался, как бы у девочки не разошелся шов — о том, что шов обязательно разойдется, если неправильно себя вести, говорили ребятам каждый день. Нянечка сунула судно, а потом, вытаскивая его, откинула одеяло и, осуждающе шлепая тапочками по линолеуму, направилась к дверям. А девочка осталась лежать совсем открытой. Оказывается, под одеялом она была голой, и я замер, когда увидел это. В палате было несколько мальчишек, но, кажется, никто не обратил на нее особого внимания, а я испуганно смотрел издали на ее голенькое тело — оно было таким красивым, тонким и плавным, — понимая, что смотреть стыдно и что стыдно лежать голой в палате и, может быть, впервые в жизни страдая не своим, а ее страданием. Она даже не могла пошевелиться, и я увидел ее взгляд, строгий, мимо нас. Тогда я, не помня себя, подошел к ней и накрыл одеялом. Я уже не видел ее, я даже не знаю, посмотрела ли она на меня или все так же смотрела мимо.

В лагерь я вернулся только в конце первой смены. Ребята, которых я успел запомнить, загорели и подросли, и я выделялся своей бледностью и остриженной под нулевку — в больнице всех остригали — головой. Я безнадежно отстал от них и от лета, вместе с которым они пробежали столько солнечных или дождливых дней — они жили в ином времени, иными делами и заботами, я ходил среди них чужой, никому не нужный. Смена кончилась, на следующую родители не решились меня оставлять, и остаток летних каникул я провел в поселке. И тут было солнечно и просторно, была речка, были ребята, как и я, вернувшиеся после первой смены, и все же меня не покидало чувство, что лето безвозвратно пропало.

Вскоре мама уехала на курорт, мы жили вдвоем с папой. Каждый вечер, растопив в миске парафин, он делал мне компресс на опухший локтевой сустав. Пожалуй, парафин был слишком горячий, но я терпел, к тому же мне было приятно потом снимать с руки легко отстающую, чуть подергивающую волоски хрупкую корочку. Когда я пошел в школу, левой рукой я владел не хуже, чем правой.

Осени будто и не было — только один день, вернее, один час стоит перед глазами. Где-то недалеко от знакомых старых барачков, где теперь никто не жил, — огромная поляна. Почему я раньше не знал о ней, или же она образовалась позже? После уроков мальчишки отправились туда — идут быстро, и кто-то впереди с настоящим кожаным мячом, мяч картинно подпрыгивает на руке, и каждому хочется его понести. Разбившись наконец на две команды, мы начинаем гонять этот мяч, — поляна огромная, от ворот до ворот непривычно далеко, иногда мне тоже перепадает ударить по мячу, а вокруг поляны светят деревья и всё облетают, облетают, образуя желтую кромку, и, остановившись, я смотрю на эти деревья и на убегающую стайку мальчишек, и

огромное ликующее чувство переполняет меня. Вот-вот я закричу от счастья, — я закусываю губу и бросаюсь вслед за остальными.

## 4

Толя и Боря Карабицыны. Оба старше меня — Толя на год, а Боря на два. Я знал их и раньше, но только теперь что-то сблизило нас — может быть, те рисунки, какими Боря заполнял ученические тетради? Он расчерчивал страницы на квадраты, и там, переходя из одного в другой, совершал свои умопомрачительные приключения маленький человек. Он и плавал, и летал, и путешествовал под землей, его ловили, жгли, вешали, топили, расстреливали, а он оставался цел и невредим. Фантазия Бори казалась мне неистоцимой — человек попадал в пустыню и джунгли, на Северный полюс и в далекий и страшный город Нью-Йорк. Я тоже заболел такими рисунками, правда, мои человечки были не столь находчивы, смелы, дерзки и изобретательны. Иногда у меня даже возникало ощущение, что им просто скучно, но все же я решился показать Боре свою серию приключений, и тогда он позвал меня к себе домой.

Так я стал приятелем Бори и Толи. Толя мне не очень нравился. Худой, нервный, подвижный, с быстрой, почти заикающейся от быстроты речью, он чем-то был очень похож на девчонку, да и на самом деле постоянно околачивался среди них. С ними он играл во все их девчоночьи игры, и я, хоть втайне и завидовал ему, но себя на его месте никак не мог представить — в их кругу он превращался в такую же девчонку. Рядом с ним было всегда беспокойно и как-то ненадежно.

Боря был совсем иным — степенным, даже медлительным, постоянно что-то обдумывающим, да и выглядел он иначе — круглее, мягче и обстоятельнее. Боря учился в пятом классе и уже писал стихи и прозу. Он так и говорил — «прозу», и это не совсем понятное слово меня ужасно волновало. Стихи его я не читал, хотя помню, что это были басни, и даже помню название одной: «Осел и Козел». Что такое басни, я знал хорошо и поэтому был несколько разочарован, когда он однажды в присутствии взрослых продекламировал «Осла и Козла». Я не нашел в стихах ничего смешного, а басне полагалось быть смешной, и после этого я стал думать, что и сам, если бы захотел, сочинил бы какую-нибудь басню. Уверенность в том, что при желании я обязательно бы ее сочинил, несколько ослабила мое преклонение перед Бориным сочинительством.

Прозу я запомнил лучше, потому что в пору нашего приятельства Боря писал одну и ту же книгу, которую он называл повестью, и в которой шла речь о войне с немцами, партизанах и шпионе, проникшем в партизанский отряд под именем Петра Степановича. На первой же странице в небе над партизанским отрядом происходил бой нашего «ястребка» с «мессершмиттами» — «ястребок» сбивал всех четырех, а в конце этой страницы у командира партизанского отряда возникало подозрение, что Петр Степанович — шпион. Там происходил такой диалог:

«— Что это вы делаете здесь, Петр Степанович? — спросил командир партизанского отряда Звездин, как ни в чем не бывало появляясь из-за кустов.

— Да... вот... винтик потерялся, — нашелся шпион и стал шарить красными, морщинистыми, волосатыми руками по зеленой траве».

Это было самое напряженное место, и читал его Боря мастерски, даже слегка запинаясь за растерянного Петра Степановича. Мне, правда, казалось, что застигнутый врасплох шпион мог бы ответить что-нибудь более убедительное — мне совсем не нравился этот винтик в траве, — но высказать вслух свои соображения я не решался.

После первой страницы Боря написал еще две, но у него был совсем по-взрослому неразборчивый почерк, и, чтобы все могли читать, Боря решил переписать свою повесть начисто — печатными, как в книге, буквами. На печатные буквы уходило много времени, и в новой очень толстой, как книга, тетради, которую Боря специально завел, была таким образом переписана пока только первая, уже известная мне страница.

Зато какую карту он нарисовал для всех нас! А нас было четверо: мы трое и их сестра Эля. У Эли были свои подруги и игры, но на нашей карте Боря и ей выделил территорию — синюю

страну под названием Сингапурия. У него самого была лимонно-желтая Неаполитания, у Толика — красная Филиппиния, мне же досталась зеленая Тасмания. Мне, в общем-то, нравилась моя Тасмания, хотя произносить вслух слово «Неаполитания» было гораздо приятней.

У каждого из королей — а мы были королями, не считая Эли, которая была королевой, — был свой флот. Флот мы в основном строили из картонных коробок: вырезали выкройку днища и бортов, загибали борта и соединяли их в носовой и кормовой части кусочками канцелярских скрепок. На корабли погружалась королевская гвардия, состоявшая из шахматных фигур, и, отведя свои корабли в разные углы комнаты, мы по очереди обстреливали друг друга громыхающим спичечным коробком. Побежденным считался тот, у кого не оставалось на корабле ни одной стоящей фигурки. Обычно мы сражались один на один, но в некоторых случаях позволялось приобретать и союзников. Правда, в союзники мне доставалась только Эля — это было невыгодно, потому что она постоянно терпела поражение.

Затем шел дележ территории. Победивший король отхватывал в свою пользу кусок у проигравшего соседа — карта была сделана таким образом, что все мы были соседями. Наши государства все время меняли свои очертания: мое, например, изначально почти прямоугольное, вскоре приобрело вид какого-то морского животного с длинным хвостом и тремя толстыми лапами, а Элино после первых боев и вовсе перестало существовать, и Боря великодушно принес в жертву пяточок своих расширившихся земель — этот пяточок давал Эле право воевать и дальше.

Разошелся я с Борей и Толей так же быстро, как и познакомился. Однажды, когда я пришел к ним отвоевывать захваченные у меня накануне земли, меня удивило, что братья необыкновенно официальны со мной. Они молча переглянулись, расстелили карту и объявили, что сегодня заключили против меня двойственный союз. Эли не было, но, подумав, я торжественно отвечал, что принимаю их вызов. Боря и Толя быстро снарядили свои картонные корабли и принялись меня обстреливать. Урон, который я понес от них, был весьма внушителен, и тут же Боря, схватив ластик, стал безжалостно стирать в двух местах границу моей Тасмании, чтобы внести поправки. Я заявил, что это нечестно, раз я еще не стрелял по их кораблям — я надеялся, что мне удастся хоть сколько-нибудь поправить свое положение, — но Боря уже затушевывал желтым то, что минуту назад было моим, зеленым. Я смотрел на своего морского зверя, у которого под Бориным карандашом явственно определялась четвертая лапа, все больше осознавая, что пал жертвой какого-то заговора.

— Это нечестно, — повторил я, — я так не играю.

— А тебя никто и не просит, — отбарабанил Толя.

Я встал и пошел к двери, и последнее, что я слышал, — это хруст моего флагманского корабля под Толиными ботинками.

А на следующий день мы с Толей схватились на дворе. Оказывается, их отец получил выговор по службе от моего папы, и, завидев меня, Толя принялся скакать и орать своим тонким голосом: «Подполковничий сынок, поцелуй меня в пупок!» Толю я не боялся. «А ну-ка повтори!» — несколько ошарашенный этим никогда не слышанным прежде стихом, сказал я, подходя ближе. Он повторил, и я ударил его по уху. Удар получился таким звонким, что все, кто был во дворе, засмеялись. Через мгновение я обнаружил, что лежу на животе, а Толя, оседлав меня, тычет лицом в землю. Я не успел почувствовать, больно мне или нет, но почувствовал такое унижение, оттого что именно Толя с его бабскими замашками одолел меня, что схватил его руку, мелькавшую передо мной, и вцепился в нее зубами. Толя завыл и выпустил меня.

— Баба, баба, дерется, как баба! — плача и махая укушенной рукой, повторял он. А я отряхивал штаны и куртку и молчал, у меня даже злость прошла — настолько противоестественным казалось мне слышать от него такое обвинение.

Наши отношения были окончательно испорчены, новых знакомых у меня не было, я стал засиживаться дома и читать, читать гораздо больше, чем раньше. Как раз в это время я прочел «Кондуит и Швамбранию». Повести эти, особенно «Швамбрания», потрясли меня. Я озирался вокруг, подозревая в каждом предмете тайну, какую-то скрытую от поверхностного взгляда жизнь.

Я вытащил из своей тумбочки тетради и учебники и всякий хлам и поставил в нее деревянную шкатулку, красиво выложенную по крышке и стенкам ракушками, спрятал внутри медаль «За отвагу» с оторванным ушком, а рядом со шкатулкой в темной глубине тумбочки поставил шахматную королеву. Я был уверен, что эти вещи непременно войдут между собой в загадочную связь — они стали для меня знаками некоего мира, в котором пребывали маленькие загадочные существа, и если бы, скажем, в один из дней из тумбочки исчезла бы королева, то я был бы уверен, что она переступила грань, отделяющую все видимое от невидимого, и осталась там, с той стороны, наблюдая за мной и ожидая, когда я сам, сделав какое-то усилие, присоединюсь к ней.

А тем временем даже в видимой жизни, к которой я так слишком очевидно и прочно принадлежал, совершались события. В поселке, например, построили большой роскошный деревянный клуб, и по вечерам оттуда доносились звуки духового оркестра. Если вечера были теплые, то танцы происходили на открытой танцплощадке. Какое наслаждение было стоять рядом с воющей, рыкающей и гремящей медью, видеть музыкантов с их равнодушно-меланхолическим выражением лиц, их заводилу-трубача, всегда выпившего, в модной светлой фетровой шляпе и в небрежно повязанном голубом с белыми горошинами галстуке... С моей точки зрения, трубач был очень красив, и я с восторгом смотрел на его короткие сильные пальцы, которые снисходительно держали извилисто посверкивающий инструмент, смотрел, как трубач припечатывает мундштук к губам и, как бы ехидно улыбаясь, издает пронзительный вибрирующий звук.

А еще был фильм «Тарзан», ошеломивший весь поселок, и остается только диву даваться, как это мне удалось попасть на все четыре серии. У кассы творилось что-то невообразимое, но даже с зажатым в кулаке билетом непросто было пробиться к дверям, в которых стояли две ошалевшие женщины-контролеры. Одна волна проносила меня мимо этих дверей, а другая, противостоя ей, толкала обратно, и лишь в тот миг, когда обе волны встречались посередине, меня с силой выбрасывало прямо в руки контролеров. Несколько раз над кассой появлялось пугающее объявление о том, что детям до 13 лет вход воспрещен, и тогда приходилось вставать у окошка на цыпочки и хрипеть по-взрослому низко и задушенно, а перед контролем взбивать на самую макушку свою ушанку, чтобы казаться выше... Но народу было так много, что и кассирша и контролеры, очевидно, потеряли всякое представление о том, как до 13 лет выглядят зрители, и пропускали почти всех.

После «Тарзана», а он прошел в начале зимы, до самого лета из всех дворов раздавалось воинственное «ааа-аа-аа-аа-а», с этим тремолирующим горловым «а» посередине, — настоящий Тарзаний клич, и каждому мальчишке, в том числе и мне, так хотелось походить на великолепного дикаря и иметь таких же верных друзей, слона и обезьяну, и такую же храбрую, нежную и красивую Джейн...

Пока шли уроки, начался и кончился снегопад. И поверх посеревшего, подмерзшего слоя снега лег новый — легкий, искрящийся, пушистый снег; странно бежать по нему — такой он белый, нетронутый, такой не принадлежащий никому, а теперь, когда я оставил на нем свои бегущие следы, только мой. По двору носится кругами и лает дворовый песик Тузик. Он прыгает вокруг меня, маленький, верткий, мускулистый, безнадежно добрый и глупый... Нет, нельзя быть таким доверчивым — мне даже неловко, что вот он рванулся ко мне, а я просто посмеялся над ним, позвав наоборот: «Зикту, Зикту», — он дальше несется, закинув свою глупую беззащитную морду, а мне стыдно, оттого что он поверил мне.

Но я, разве я так ли уж иначе чувствую этот свет и этот снег, разве мне не хочется зарыться в него лицом, погрузиться в пушистый, легкий, холодящий и раскрыть под ним глаза, увидеть над собой переливающуюся матовую белизну и ползти, ползти, сжаться, стать маленьким, как Тузик, как мышь, и ползти, проделывая ходы, лабиринты, и видеть сверкание вокруг, и задыхаться от счастья...

Вот уж вечер, из окон добрый теплый свет, он, как оберточная золотистая фольга, выгибается на сугробах, и, должно быть, если взлететь над домами и глянуть вниз, то вместо домов будут видны только эти золотистые квадраты вокруг них.

Дорога вдоль домов хорошо укатана, я мчу по ней на своих хоккейках, и снег радостно по-собачьи повизгивает. Фонари стоят редко, и мрачноватые промежутки между ними я стараюсь проезжать быстрее, — зато под крышей желтого света я чувствую себя в безопасности. В конце улицы глухо и темно, но над той темной глухотой стоят и переливаются в небе две звезды, и если бы дорога шла очень далеко, можно было бы домчаться до того места, где эти две звезды встали бы прямо надо мной.

## 5

Она пришла в наш класс во второй четверти, ее посадили на первой парте, где у нас сидели только отличники, и, когда она получила на уроке арифметики «пять», да еще сказала, что эту тему они давно уже прошли в старой школе, стало ясно, что она тоже отличница. У нее были светло-голубые, какие-то прозрачные глаза, и взгляд их невозможно было поймать — они смотрели сквозь, не замечая никакой преграды, — и это было немного обидно. Я целые уроки глазел на две ее аккуратные косы золотистого цвета, на ровный пробор посередине, на ее выглаженные пышные банты, а однажды на перемене даже будто нечаянно толкнул два раза, и все же я не мог бы сказать, что она мне очень нравится, ей чего-то не хватало, чтобы она стала мне нравиться всерьез. Я это понял, обнаружив, что радуюсь, только если вижу ее, а если ее нет — даже не вспоминаю о ней, ни разу не вспомнил.

Мои папа и мама снова собираются в гости, и вдруг я слышу от них, чтобы тоже одевался.

— Пойдем, пойдем, нечего тебе дома сидеть, — сказал папа, как будто я так уж был счастлив оставаться один, — да причешись, — добавил он, — там тебя целых две невесты ждут.

Я мигом оделся как положено и причесался — и у меня почему-то глухо и осязаемо застучало сердце. Я даже не понимаю, почему я тогда вдруг разволновался.

Мы шли недолго, через двор, мимо сараев, вдоль забора — в другой, очень похожий на наш двор, дом тоже был похож, только те, к кому мы шли, жили на втором этаже.

Я томился в прихожей рядом со взрослыми, слушая их восклицания и смех и немного удивляясь тому, как незнакомо звучат голоса моих родителей и как охотно и много смеется моя мама. Я уже повесил свое пальто и не знал, что делать дальше, потому что взрослые продолжали говорить между собой, и в это время в коридор вышла девочка. Я поздоровался и вдруг совершенно остолбенел — это была моя одноклассница. Просто я не сразу узнал ее без школьной формы. Она, кажется, тоже удивилась и сощурила глаза, словно чтобы сделать их менее прозрачными и разглядеть наконец меня. Она с некоторым вызовом подошла ко мне — в школе никогда бы не подошла — и сказала:

— Добрый вечер.

— Ну вот, знакомьтесь, молодые люди, — словно только что заметив нас, спохватился высокий худощавый военный.

— Мы уже знакомы, папа, — сказала моя одноклассница.

— Ну, тогда вам и карты в руки, — засмеялся военный, и все остальные тоже засмеялись, как будто он сказал что-то смешное, — тогда иди познакомь нашего гвардейца с Олей.

— Пойдем, — сказала мне Инна — ее звали Инной, — вежливо протягивая мне руку. Я машинально дал свою, и мы пошли. Мы шли рядом, не глядя друг на друга — не то что не глядя, потому что я вообще ничего не видел, а как бы независимо, — но наши руки были вместе, и я все время чувствовал это, и это было так трудно, мучительно и страшно, как будто мы несли какую-нибудь гранату, готовую взорваться. Мы вошли в комнату. Посередине ее стояла высокая тонкая девочка, очень похожая на Инну, но совсем другая, она покраснела, увидев нас, и вопросительно наклонила голову.

— Это Оля, — высвобождая свою руку из моей, сказала Инна. — А это мальчик, который толкается на перемене, — кивнула она на меня.

— Вы правда толкаетесь? — спросила Оля, глядя на меня строгими и какими-то очень теплыми глазами.

— Я не толкался, это просто так, — жалко ухмыльнулся я, чувствуя, что краснею.

— Вот видишь, Инна, — сказала Оля, — это он вовсе не толкался.

— Правда! — сказал я, подняв на Инну глаза.

— Ну ладно, — смутилась Инна, — первый раз прощается.

— Вы учитесь в третьем, а я в четвертом, — сказала Оля.

— А-а-а! — протянул я, чему-то огорчившись.

— В той же школе, — продолжала она, — только мы ни разу не встречались, да?

— Теперь будем встречаться, — сказал я.

— Конечно. Ведь мы теперь знакомые.

Сестры показали мне свои книжки, у них было больше книжек, чем у меня, и еще показали альбом с фотографиями, где они были еще совсем маленькие, — им было интересно, как я смотрю, но сам я не испытывал никакого интереса к этому альбому, хотя просмотрел его от начала до конца. Потом я заметил в комнате шахматы, но в шахматы они не умели играть, и я предложил тут же научить их. Инна отказалась, а Оля согласилась, и я целых полчаса объяснял ей, что как ходит.

По-моему, Оля так ничего и не поняла, но она прилежно брала одну фигуру за другой и, глядя на меня своими строгими и смеющимися глазами, спрашивала: «Так?» — и водила фигуру по клеточкам.

— Нет, не так, — терпеливо говорил я, беря у нее из пальцев коня. — Конь ходит буквой «гэ». В любую сторону.

— А если ему мешает пешка?

— Она не может ему мешать, потому что конь перепрыгивает.

— А офицер, то есть слон, тоже перепрыгивает?

— Нет, только конь.

— Ну, конечно, — радовалась Оля, — как я сразу не поняла, ведь на то он и конь.

— Ага, ага, — кивал я головой, скрывая этими кивками тот факт, что до настоящего момента я ни разу не задумывался, почему только конь может перепрыгивать.

Мне было чуть обидно, что я так плохо объяснял, но в то же время было, непонятно почему, очень приятно и радостно. Меня умиляло, что Оля так плохо понимает, и еще я все время думал, как хорошо она смеется, нет, даже не смеется, а улыбается, смотрит на меня и улыбается — так что я в ответ тоже все время улыбался.

— Ну, как тебе твои невесты? — спросил папа, когда мы возвращались домой. — Понравились?

— Не знаю, — сказал я, чувствуя, что говорю неправду. Очень понравились, хотелось сказать мне. Особенно Оля. Но что-то удержало меня.

Как я мчался утром в школу — и странно было сидеть как ни в чем не бывало за Инной, глядеть на ее косы, сознавая, что мы теперь знакомые, и в то же время притворяться, что между нами ничего нет. Такой сладкой была эта тайна, и такого значения были полны мои слова: «Здравствуй, Инна», которые я высказал ей на перемене. Она молча кивнула и прошла мимо к девочкам, и меня хоть это и царапнуло немножко, я тут же ее оправдал, подумав, что она еще больше меня заботится о сохранении нашей тайны. На этой же перемене я разыскал Олю и кивнул ей издали — она заулыбалась и пошевелила губами, произнося что-то, чего я не мог расслышать, но я догадался, что это она здоровадается со мной, и вдруг мне стало необыкновенно хорошо, и весь следующий урок я ничего не видел и не слышал.

Я стал приходить к сестрам очень часто, почти каждый вечер, а потом каждое утро страдал оттого, что мы опять как бы не знаем друг друга, никогда не подойдем и не поговорим. Мне не давала покоя одна и та же мысль: что правда? то, что было вечером, или то, что сейчас? Ах, эти вечера, эти мои сборы, когда я стоял перед зеркалом и глядывался в себя, мальчика с бледным лицом, которое мне казалось то уродливым, то красивым... Я тщательно причесывался и, послунив тонкую прядку волос, опускал ее на лоб, чтобы было красиво и небрежно — «в художественном беспорядке», как говорила моя мама. Я чистил ботинки и, накинув пальто, мчался без шапки по темно-синему заснеженному двору, мимо сараев, ощущая запах их смержшихся старых досок и почему-то сена, мчался мимо забора, который, уйдя в снег, был теперь мне всего лишь по пояс, и я думал — вот какой я уже большой, высокий, сильный, мчался и видел высоко взлетевший маленький сияющий диск луны и тени на снегу от голых черных лип, мчался, может быть, уже тогда понимая, что именно в этом беге, в предчувствии и скрыто самое дорогое, самое главное. Но, нет же, — не мог я тогда понимать это, да это было и неправдой, потому что я был счастлив и потом — когда открывали мне, когда я входил в эту комнату, где все было чудом, каждая вещь, каждая пылинка — все.

У нас уже была игра, наша игра, единственная в мире игра, в которой было три единственных в мире участника: Оля, Инна и я. Мы выключали в комнате свет и в теплой блаженной темноте на коленях искали друг друга. Я водил перед собой руками, ощущая кончиками пальцев близость эти девочек-сестер, глядя в темноту и не видя ничего, пока пальцы вдруг не касались знакомого, сразу ускользящего и уступающего, — я слышал сдерживаемое дыхание, ощущал кожей чью-то затаившуюся теплоту и должен был на ощупь догадаться, кто это — Оля или Инна. А они заговорщицки молчали, когда я водил пальцами по рукаву, воротничку платья, по подбородку, губам, касался бровей, глаз — я почему-то был уверен, что отгадаю по прикосновению к глазам, пусть даже закрытым, — и я всегда отгадывал, но не по глазам — по молчанию, потому что Оля молчала совсем иначе, чем Инна. Она молчала так, как молчал я, и это было уже известно нам обоим. Вот, наверное, почему в середине игры вдруг резко вспыхивал свет — у выключателя всегда стояла Инна. «А я думала, что ты еще ищешь», — говорила она, пристально глядя на нас, стоящих на коленях друг перед другом. Но я не смел обижаться на нее — я все равно был счастлив.

Их дом, их двор, их лестница были неизясымно дороги мне, полны того же тайного значения, какое я предчувствовал в невидимой части жизни, окружавшей меня. Я вытащил из темного угла тумбочки свою королеву и сунул ее в шахматную доску к остальным фигурам, а в шкатулку, выложенную речными ракушками, спрятал никелированную коробочку, которую взял тайком в комнате девочек. Нет, я не украл ее — мне просто очень хотелось иметь что-то из их комнаты, где мы играли, иметь хотя бы крошечный осколок того тепла, того говорящего молчания, той темноты, в которой был растворен не страх, а радость. Я раскрывал эту плоскую аккуратную коробочку размером в пол моей ладони и глядывался в ее тонко поблескивающие створки, будто ждал, что вот-вот они раздвинутся, и я снова войду в комнату, где стоят две девочки-сестры.

Если бы можно было прийти и больше никогда не уходить оттуда, остаться с ними! А я уже стал говорить себе, что надо высидеть дома хотя бы один вечер — не идти туда, мучиться, но терпеть и не ходить: разве я не замечал все менее снисходительный взгляд их матери, взгляд, прозрачно текущий мимо меня, Инин взгляд. Она встречала и провожала меня этим рассеянным взглядом, словно что-то пыталась вспомнить, чтобы сказать мне, и я говорил себе — не надо, не надо завтра приходить, надо обязательно выдержать и не приходить, и в такой черный для меня вечер я все-таки околачивался возле их дома, будто был занят игрой. Мне даже пришлось заводить

новых знакомых, чтобы иметь право находиться в этом дворе, и я делал вид, что играю, и сто, двести раз тайком взглядывал на их окна, кухонное и комнатное. Комнатное светилось приветливым уютным светом, мелкими складками висела за стеклами просвеченная штора, и, когда она вдруг вздрагивала, у меня вздрагивало сердце — кто коснулся ее в этот миг?

Я уже знал, что люблю Олю. Где бы я ни видел ее, тоненькую, длинноногую, с наклоненным вперед, как бы вслушивающимся лицом и с постоянной улыбкой, словно все ей было в радость, — где бы я ни видел Олю, я сразу ловил себя на том, что сам глупо улыбаюсь во весь рот, и мне хочется бежать к ней и смотреть, смотреть на нее — ничего больше, только смотреть.

Но почему погасло окно и стало сразу таким чужим и мрачным, и темнота его не для меня — чужая темнота! Нет, наверно, они выйдут сейчас, они оделись, выключили свет и сейчас выйдут со своими санками. Что же делать, куда мне деться, они же сейчас увидят меня здесь, под их окнами, и все поймут — как стыдно, надо бежать скорей, и спрятаться, и не признаваться. Но как я побегу, если я стою среди мальчишек, и у нас в руках клюшки, и мы только что гоняли кусок льда...

Мне кажется или это в самом деле шевельнулась штора, кто-то раздвинул ее посередине, так что образовалась черная щель во всю высоту окна, встал на подоконник и, почти незаметный на темном фоне, стоит и смотрит из окна. Разве я не знаю, кто это? Я ведь знаю, только не хочу сознаваться в этом. Это Оля, это она. Она встала незаметно на подоконник и смотрит вниз, потому что внизу я. Она смотрит и не знает, что я давно заметил ее. Но я ведь не подглядывал — я просто давно уже смотрел в светлую, а потом темную пустоту окна, и разве моя вина, что, встав там, она призналась мне. Как трудно теперь посмотреть наверх, а она ждет, что я посмотрю, иначе бы она не стояла так долго — незаметно для мальчишек я поднимаю голову, и, хотя Оля не шевельнулась, я знаю, что мы обменялись взглядами, и, хотя мы молчим, мы все знаем друг про друга.

Опять это странное чувство раздвоенности: вот я здесь среди мальчишек, о чем-то спорю и воинственно держу свою самодельную клюшку, и никто из них даже не подозревает о том, что я не с ними, а там — за двойными стеклами окна, вместе с Олей, в теплой волшебной темноте. Я стою среди них, стою независимо, небрежно, помахивая клюшкой и зная, что она смотрит на меня, смотрит, смотрит.

Но будет и другой вечер, когда так же погаснет окно и я с бьющимся сердцем перебегу их двор и спрячусь за сараем, а увидев, что они выходят из подъезда, гремя санками, не чуя ног под собой помчусь дальше, вдоль низкого, по пояс, забора, и упаду в протоптанную среди снега дорожку, и, чуть приподняв голову, буду ждать их, и, когда они появятся в синем проходе между забором и сараями, закричу звонко, пронзительно и счастливо: «Ааа-аа-аа-аа-а!» Как жаль, что никто не нападет на них, что неоткуда ждать жестоких и коварных туземцев, а то я бы бросился в самую гущу врагов, разбросал бы их и вынес бы на руках Инну и Олю. Как долго бы я нес Олю, она обхватила бы меня руками за шею, и я бы нес и нес, и было бы тихо, и падал бы снег.

Мы на горке, сюда доходит свет уличных фонарей, снег искрится, и сама улица кажется отсюда узенькой и кособокой, совсем утонувшей в сугробах, и на ней и на тех сугробах лежат отдельные круги света. А мы высоко — девочки-сестры высоко, а я все хочу присоединиться к ним, я упорно лезу наверх в самом крутом месте горки, а они сталкивают меня, и я покорно падаю, поджав локти, скатываюсь вниз и, что-то крича, снова лезу, они со смехом снова толкают меня — Оля толкнула, радостно отмечаю я, — и падаю назад просто страшным, просто смертельным падением, и замираю, кувырнувшись напоследок через голову. Оля уже испугалась и, так трогательно-неуклюже скользя на своих длинных палочках-ножках, спешит ко мне, трогает варежкой, спрашивает — жив ли, а я смотрю на нее сквозь налипшие на лицо снежные хлопья, и она кажется мне королевой с лучами-крестиками вокруг.

На уроке «родной речи» я нарисовал героического Тарзана, пронзающего копьем кровожадного туземца. Сначала я нарисовал Тарзана и копье в его руках, а только потом пририсовал фигуру туземца, и мне не понравилось, что Тарзан слишком низко направил свое копье. Мне все нравилось, кроме направления копья, но, поколебавшись, я решил оставить как есть — все-таки взмах Тарзановых рук очень соответствовал положению копья. В конце концов так тоже могло быть, сказал я себе и послал рисунок через две парты Инне. Я им подарил много

своих рисунков. Я послал через девочек, но двоечник Измашкин из соседнего ряда, перегнувшись, выхватил рисунок и, очень неприлично хмыкнув, что-то написал на нем внизу. Я испугался и потребовал, чтобы он сейчас же вернул его мне, но Измашкин сложил его вчетверо и бросил прямо перед Инной на парту. Меня объял ужас. Жалко улыбаясь, я следил, как Инна развернула бумажку, глянула в нее, чуть наклонив голову, как передернула плечами и спрятала в парту. У меня волосы зашевелились от предчувствия, что все кончено. «Что ты написал?» — зашипел я Измашкину, но он посмотрел на меня, как смотрят на человека, про чье существование уже забыли и думать, и скучно отвернулся, а я получил замечание от учительницы.

На перемене я не решился подойти к Инне, но еще надеялся, что она сама подойдет и что-то скажет мне, и ожидание беды рассеется, и все станет как прежде. Она не подошла ко мне. Она больше не замечала меня. Вечером к нам домой пришла их мать и о чем-то говорила с моими родителями и вскоре ушла, и после ее ухода у моей мамы стало озабоченно-огорченным лицо, и она за что-то выговаривала папе, который только хмыкал, сиюсь сдерживать улыбку. В руке у него я заметил свой рисунок.

Больше я не бегал к девочкам-сестрам, и мы никогда больше не играли вместе. С Инной мы, конечно, теперь не обращали друг на друга внимания. Ей это было легче делать — ведь ее прозрачный взгляд так легко мог протекать мимо. А с Олей мы еще долго смотрели издали друг на друга, и я видел, что ей трудно, как и мне, и что она хочет подойти, но ждет, чтобы я сам подошел, но я не мог подойти первым — это было выше меня.

И мне приснился сон. Я иду мимо темных сараев и забора, высоко-высоко луна, она светит прямо на снежную дорожку, пересеченную длинными тенями. Я оглядываюсь, но моей тени нет. Это меня удивляет, но тут же я догадываюсь, что медленно лечу и тень моя — на крышах сараев. Я лечу, слегка покачиваясь то влево, то вправо. Я подлетаю к их дому и плавно опускаюсь мимо освещенного окна. Но внизу меня охватывает острое сожаление, что я не успел заглянуть в их окно. Я пытаюсь снова оторваться от земли, напрягаюсь изо всех сил, повисаю в воздухе и тут же снова ударяюсь ногами о твердый снег. Только почему я не вижу своих ног, себя не вижу, и тени моей по-прежнему нет? Я невидим! Как это я сразу не догадался. Я спешу в их подъезд — мне надо обязательно проникнуть к ним, войти в комнату — теперь мне никто не сможет помешать. Я всемогущ! Я поднимаюсь по лестнице и вдруг на лестничной площадке вижу их. Прижавшись к стене, они стоят со своими санками и ничего не понимают. Ах, как прекрасно, что они ничего не понимают — я вижу их недоуменные лица и наслаждаюсь своей неуязвимостью, властью своей. Я прохожу совсем рядом с ними и протягиваю свою невидимую руку, чтобы коснуться их, и вдруг замечаю, что вместо недоумения их лица выражают насмешку. Я бросаю взгляд туда, куда они смотрят, и вижу на фоне стены отчетливый силуэт своих валенок. Я бегу вниз по ступенькам, которые никак не кончатся, и вслед мне раздается смех.

Зато опять была весна. Сначала с блеском ручьев и паводков, через которые мы переправлялись на самодельных плотах, а потом — с черными точками майских жуков над мягкими верхушками лип. Только вот лета больше не было, потому что в самом его начале мы навсегда уехали из поселка.

И опять качало, в купе на столике подрагивали стаканы, и позванивали ложечки в них, пахло едой, недавно крашеной обшивкой и паровозной гарью, а однажды утром сквозь сон я услышал, что все говорят про Уральские горы. Но, когда я проснулся и вышел в коридор, чтобы посмотреть на них, гор уже не было, и за окном только лениво чередовались округлые зеленые холмы. Так я и не увидел Уральских гор.

*Январь — февраль, 1973*